ЗАТЯНУВШИЙСЯ АВГУСТ

Если Любовь погибнет, память о ней может спасти мир?

Я стояла у плиты. Я проклинала август. Где-то там, за окном (рукой подать!), – второе бархатное семидневье обозначилось помидорно-яблочным изобилием. Красота раскидистых древесных гигантов манила свежестью, возможностью отдохновения, но когда я смахнула слезу, присмотрелась – показалось, что и там нет покоя: птицы, насекомые снуют, кружат, ползают, захватывают, растаскивают, стараются выжить…

Здесь, на кухне, свой лязг и скрежет: звякнуло ведро о кафель, глухо стукнула, не разбившись о пол, тарелка; сало на сковороде шкварчит, в закипающий борщ, уныло булькнув, проваливается картофель.

Я головёшка большой семьи. Глава, а точнее, голова главы, – чуть поодаль, напротив, оторвавшись от спинки стула, неопределённо болтается на скособоченных плечах бывшего атлета. Она мычит, хлюпает, сморкается в изумрудно-персиковую ткань салфетки, корёжит её узорчатые края.

Моя любовь, как фитиль газовой горелки, полыхает синим пламенем, и я не знаю, что мне делать: выброситься из горящего ада вместе с детьми, пока не полыхнуло сознание, или, залив всё и вся лютой ненавистью, жить покуда на месте, сохраняя семью.

Скорее всего, сначала стукнуло, скрипнуло, потом прошлёпало и только потом бухнулось, но я всё ещё горевала о нынешнем, и если бы не соль для борща, за которой нужно было повернуться к столу, я бы не скоро заметила рыжеволосого носатого красавца, стоящего передо мной на коленях. В этом цирковом антураже я живу уже полтора года. Знаете, как любят совпадать несчастья! Регулярные запои мужа, якобы вследствие рождения третьей дочери вместо загаданного сына, тяжёлая болезнь сестры, загулы зятя, ищущего утешения в складках чужих юбок, борьба с безнадзорностью их дочери, моя каторжная работа на две семьи – всё весело потрескивало в этом костре отчаяния. Поэтому без удивления увиденному я спросила:

– Что на этот раз, братья-акробаты, придумали?

– Мари... я, – слегка помедлив с окончанием, мычит встревоженная голова, – всё серьёзно… без шуток…

– Ну, и что теперь? – простираю я пятнистые от бардового свекольного сока руки к кудлатой шевелюре зятя.

– Маш, прости меня!

И ведь по-свойски так, по-доброму попросил Алексей, хоть плачь, и я уныло уточняю:

– За что?

– Люба говорит, иди к Маше. Маша простит, и я прощу. Маш, прости! – и залихватски так руки к рубахе вскидывает: щас и пуговки зазвянькают по полу, и сопли между носом и губой захлюпают, и пойдёт у них, запойных, своя потеха, свой куражок извечный: не любит, мол, никто… Я еле уравновешиваю тело от тяжести схлынувших с груди к коленям рук и надсадно проговариваю отвердевшие в глотке слова:

– У меня своя пьяная с… к стойлу еле прицокала, обкушавшись на стороне сервелатов, а тут ещё ты со своими кульбитами… Всё ёрничаешь?

– Я не ё… Я правда прошу. Люба сказала, если ты… то и она, может быть…

– Милок, – я влетаю ястребом в широко раскрытые глаза Алексея, – разбирайтесь с женой сами. Иди уже.

Когда входная дверь захлопнулась, я заметалась было у плиты: «Ведь это всё не то! Это же не может быть важным?», но непонятно откуда пришедшее ласковое: «Сейчас для сестры главное – выжить, остальное –   
мелочи!» – успокоило меня.

*Через три месяца*

«Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй… телесныя человеков скорби исправляй… рабу Божью Любовь немоществующу посети милостию Твоею, прости ей всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе ниспосли…» – туповато шепчу многократно повторяемую молитву, расправляя складки свежей простыни под спиной сестры.

– Может, и правда, надо было простить Алексея? – охает она от грубоватой заботливости моих рук.

– Ну, и что же не простила?

– Я сама не могла. Я к тебе отправила.

– А я при чём?

– Ты о нас заботишься: стираешь, кормишь, врачуешь… А он с любовницей при живой жене балуется… Стыдно. Я без тебя не могла.

– Выходит, последнее слово было за мной? – я прикрываю ладонью красные от недосыпания глаза. – Я-то думала, он просто кочевряжится!

– Да нет, это я его послала.

– Господи! – вырывается у меня запоздалое.

– Господи, прости, – шепчет сестра устало.

– Может, он ещё приедет, – с надеждой шепчу и я, надевая на неё новую сорочку. И вдруг – после промелькнувшего в сознании: «Опять не угадала! Как с сыном для мужа…» – слёзы проступают в голосе:

– Хорошо тебе? Удобно?

– Удобно, но не хорошо. А мы ведь договорились: не плакать больше.

– Не плакать! – деревенею и я.

*Через три часа*

– Поспала, моя красавица? А к нам батюшка заехал!

– Зачем? Уже пора, ты думаешь, и батюшку?

– Он заехал поговорить, ты не волнуйся. Тяжело нам с тобой одним-то. Поддержка нужна, – подвязываю я ей белоснежный шёлковый платок, – нам уж одним с болезнью не справиться.

Люба успокаивается как-то сразу, как будто это было её решение пригласить домой священника, и начинает первая, без всякого предисловия:

– Злая я…

– Да ты что! – разрыдалась я, а батюшка почти с восторгом подхватывает:

– Ой, как хорошо, Любушка, ты сказала! Почти все говорят: люди кругом злые, а ты про себя: я злая. Молодец.

И всё же сокрушённо уточняет:

– А что так?

– Мужу… измену… не простила…

– Это зря, голубушка, слаб человек. Мужа надо простить. Да и всех надо простить.

Батюшка осеняет меня, ещё рыдающую, крестным знамением и закрывает передо мной дверь в комнату.

*Через три дня*

Я прячу лицо в расшитом по краям золотыми нитками рушнике. Мне нельзя плакать, я это помню. Александр, старший брат Алексея, пыхтит, снимая обувь.

– Проходите так, не беспокойтесь!

– Ах, ты, как скоро!– всё же разувшись, обращается гость к своей спутнице. Лида в их семье младшая. Она ласково отнимает мою руку с полотенцем от лица:

– Ему звонили?

– Да, да.

– И что он?

Я развожу трясущиеся руки, обнажая пустоту ответа.

– Вот и нам всё: еду, говорит. Где еду?

– Эх, струсит, однако! – сокрушается брат.

– Приедет, приедет! – волнуется за всех сестра.

– Батюшка был, исповедовал, причастил. Её как будто парализовало. Но это ничего, зато боли прошли, последние две ночи спали спокойно.

– Кого парализовало? – густым эхом отдаётся по углам комнаты, в которую мы, набравшись духа, входим.

– Любушка, Любушка, ты молодец! И красавица какая! – Переглядываемся между собой, удивляясь тонкости слуха больной женщины.

– Меня чуть не парализовало с вами. Пугаете своими болячками, – включаю я бодрячка.

– Как ты, подружка? – Александр мостится массивным телом на прикроватную тумбу.

– А Лида?

– Я постою. Отсюда на тебя посмотрю.

– Мужа жду, – вдруг объявляет сразу всем Люба. – Сказать, что простила. Вот и не умираю пока.

– А… ы… – начинает было скулёж Александр, но я трясу на него кулаками, и он почти отползает к двери. На его место присаживается Лида и ровненько так (женщина!) обволакивает приятным прореху в разговоре:

– Сладости детям привезли, подарки. Разбирают сидят коробки, радуются…

Потом ещё что-то сказала про какую-то радость, а потом, в тишине, нам послышалось лёгкое шелестение, произнесенное будто бы даже и не голосом:

– Хорошо…

Я вздрагиваю от растерянного взгляда Лиды, резко наклоняюсь к лицу сестры:

– Да что ж она так долго не вдыхает?

– Господи! Защити и помилуй!

Кажется, я падаю… Откуда-то из пыльного облака проступает могучая фигура мужа, и я слышу его уверенный трезвый голос:

– Уведите её из комнаты. Пусть отдохнёт, тоже намучилась. Дайте лекарства. Там, на столике. И все успокоились… пока.

*Через три года*

Опять август смущает меня своей роскошью увядания: вот ведь всё так чудесно, но ненадолго; красота незабудок, настурций, роз и на кладбище – красота...

– Что, так и метут? – обращаюсь я к мужу, который рукой показывает мне направление движения от машины к могиле сестры.

– Так и наметут себе прощение, – обращаюсь уже к детям и крепко сжимаю губы, предчувствуя подступившие рыдания.

Подходим. Сажусь на скамью. Дети и муж стоят около. Могила ухоженная, когда бы ни приехали, будто кто-то убирает здесь каждый день. Мы знаем, что Алексей с молодой женой вернулся в родной город два года назад, и с тех пор с удивлением приходится констатировать идеальный порядок и чистоту около последнего земного приюта Любы.

– Вот гады! И цветы, главное, садят и садят. Как только не стыдно!– всхлипываю я как маленькая.

– Мама, ты опять?

– Хватит убиваться по миражам. Мы ведь не знаем точно…

– Что тут знать? Они, конечно.

Наклоняюсь к цветам:

– И они у них цветут, главное, пышно как, не то что у меня... А на похороны так и не приехал!– И даю волю слезам.

– Угомонись уже, выпей лекарство, – настаивает и муж. – Люба перед смертью простила всех.

– Ну и молодцы, что метут, – вытирают мне лицо и руки девочки.

– Нам меньше работы…

Все высказались, молодцы! Я смотрю на их взволнованные красивые лица и просветляюсь душой: пора, наверно, и мне простить, а то так-то с надорванным сердцем жить тяжеловато.